

К КОДЕКС

ПОНЯТИЯ
РЕШАЮТ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Akizaro
Кодекс

«Автор»

2026

Akizaro

Кодекс / Akizaro — «Автор», 2026

Ярик привык быть тем, кого бьют и у кого отнимают деньги. Но однажды выясняется, что его лучший друг Глеб состоит в «Кодексе», группировке, живущей по понятиям, и зовёт Ярика с собой. Ярик соглашается, чтобы перестать бояться, но у каждого правила «Кодекса» есть цена.

Содержание

Глава 1:Карманные деньги	5
Глава 2:Свой человек	11
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Akizaro

Кодекс

Глава 1:Карманные деньги

Первым в Чернозаводске просыпается завод.

Не будильник, не мама, не соседи за тонкой стенкой, а завод. В шесть двадцать над городом ползёт гудок, низкий и протяжный, будто огромный зверь выдыхает после сна. Он проходит сквозь стены нашей общаги, сквозь одеяло, сквозь меня, и я открываю глаза раньше, чем успеваю понять, что проснулся.

Я живу на четвёртом этаже общежития на Литейной. Окна выходят на заводские трубы: их три, красно-белые, облупленные, и из средней всегда идёт жёлтый дым. Мама говорит, что к нему привыкаешь. Врёт. Просто перестаёшь замечать, а это разные вещи.

Меня зовут Ярослав Воронин. Ярик для своих, Воронин для учительницы по алгебре и «эй, ты» для всех остальных. Мне шестнадцать, я учусь в десятом классе школы номер четырнадцать. Рост метр семьдесят два, вес пятьдесят восемь вместе с рюкзаком. За всю жизнь я ни разу нормально не подрался, и дело не в миролюбии. Просто драки со мной заканчивались раньше, чем я успевал решить, что делать.

Мама уже не было. Она работает лаборанткой в заводской лаборатории, берёт пробы металла и вписывает цифры в толстые журналы, а когда у неё утренняя смена, уходит ещё до гудка, тихо, чтобы меня не разбудить. Получается всегда одинаково: я всё равно просыпаюсь и всё равно делаю вид, что сплю.

На кухонном столе, под сахарницей, лежали записка и четыреста рублей.

«Ярик, это на неделю, на хлеб и молоко. Не трать на ерунду. Целую. Мама».

Четыреста рублей на неделю немного, но мы с мамой умеем считать. Отец уехал на вахту на север, когда мне было девять. Вахта затянулась на семь лет. Он присылает деньги, когда вспоминает, и звонит по праздникам, когда вспоминает тоже. Мама говорит: «Он у нас занятой». Я ни разу не спросил, что она думает на самом деле.

Деньги я сложил вдвое и сунул в карман джинсов, а не в рюкзак. Мне казалось, так надёжнее. Позже выяснилось, что надёжных карманов не бывает, бывают только пацаны, которые знают, где искать.

В рюкзак полетели учебники и блокнот.

Обычный блокнот, в клетку, тёмно-синий, с потёртыми углами. Я вожу его с собой второй год, и про него никто не знает. Даже мама. Даже Глеб, почти.

Записываю я туда не то, что задали. Я записываю то, что мне сказали, и то, что я на это ответил. А ниже, другой ручкой, то, что надо было ответить.

Например:

«Эй, Воронин, дай списать». Я: «...» (промолчал). Надо было: «Дам, если объяснишь, почему у тебя с прошлой контрольной ничего не изменилось».

Или:

«Чё смотришь?» Я: «Я? Ничего». Надо было: «Смотрю, как ты пытаешься выглядеть страшнее, чем есть».

Я называю эти записи «Как надо было». Их уже страниц шестьдесят.

Проблема в том, что правильные ответы приходят ко мне вечером, когда я лежу на кровати и смотрю в потолок. А в тот момент, когда они нужны, во рту становится сухо, язык превращается в вату, и всё, что я могу выдать, это «э», «ну» и «ладно». Особенно «ладно». Я говорю «ладно» так часто, что иногда мне кажется, будто это моё второе имя.

Чернозаводск устроен просто: есть завод, и есть всё остальное.

Когда-то завод кормил весь город. Так рассказывает мама, так рассказывают соседи на кухне, так рассказывают старики у проходной, которые каждое утро приходят просто постоять и посмотреть на ворота. Сейчас работает примерно половина цехов. Остальные стоят с выбитыми окнами, как рты без зубов.

Вместе с цехами закрылось всё, что к ним прилагалось. Дом культуры «Металлург», где были кружки и секции, закрыли два года назад. Стадион зарос. В кинотеатре теперь склад. А пацаны остались.

Много пацанов, у которых нет ни секции, ни кружка, ни денег на что-то ещё. Такие ребята делятся на две категории: те, кто просто сидит по подъездам, и те, кто ищет, с кем сидеть. Вторые быстро находят друг друга. Так в городе появились районы, хотя вслух их никто так не называет. Говорят просто: «Вокзальные», «Гаражные», «Рыночные».

Вокзальные держат привокзальную площадь и подземный переход. Это шпана, самая шумная и самая непредсказуемая: сегодня они с тобой смеются, завтра берут за грудки без всякой причины. Гаражные сидят в кооперативах у промзоны, и про них в школе даже не шутят. Рыночные вежливы и улыбки, но говорят, что если задолжать им, то улыбаться перестают.

Есть ещё «Кодекс». О нём говорят по-разному. Одни смеются: мол, пацаны в тетрадку что-то записывают и думают, что они умнее всех. Другие понижают голос и говорят, что к этим просто так не пристанешь. Что они за своих стоят, а на чужих не бросаются без дела. Я всегда слушал такие разговоры вполуха. Мне хватало того, что я знал главное: в нашем городе моё дело обходить.

Обходить я умею. У меня в голове есть карта Чернозаводска, и она не похожа на ту, что висит в школе. На моей карте красным отмечено всё, куда не надо. Во двор через арку после четырёх не ходить, там стоят старшие. Мимо гаражей не ходить вообще, никогда. До школы добираться только по Литейной, вдоль забора, потому что у забора вахтёр, учителя и свидетели. Со свидетелями безопаснее.

К шестнадцати годам я построил такую систему, что почти не сталкивался с людьми. Только вот «почти» звучит как оправдание.

В школе день прошёл так же, как проходят все мои дни. Тихо, незаметно и с одним маленьким унижением на десерт.

На алгебре Марина Ивановна вызвала меня к доске. Я знал решение. Я знал его лучше, чем кто-то из класса, честное слово, я вчера полвечера сидел над этими уравнениями. Я вышел, взял мел и начал писать. А потом кто-то с задней парты, Сазонов, наверное, негромко протянул: «Во-о-оронин...», и весь класс тихонько заржал.

Не над чем-то конкретным. Просто потому, что так делают. Потому что если слабый вышел к доске, положено посмеяться.

Мел в моей руке сломался. Я стоял и смотрел на эту белую крошку, а Марина Ивановна говорила: «Ярослав, ты будешь отвечать или нет?» Я знал ответ. Он был у меня в голове, ровный и правильный, как строчка в учебнике. Но рот открывался и выдавал: «Э... ну... можно я... ладно».

Тройка. Я вернулся за парту, достал блокнот под партой и записал: «Вызвали. Сазонов. Смех. Я: э. Надо было...»

Дальше пустая строка.

Это было плохой знак: обычно ответы в блокноте у меня получались хотя бы вечером.

Про Глеба мне надо рассказать отдельно, потому что без него этой истории просто не было бы.

Глеб Стрельцов живёт этажом ниже, в сорок первой комнате, ровно подо мной. Мы знакомы, сколько я себя помню. Сидели в одной песочнице во дворе общаги, которая давно превратилась в яму с окурками. Он старше на год, но выглядит на два: жилистый, невысокий, свет-

лые волосы ёжиком, нос с горбинкой, который он сломал в одиннадцать лет, катаясь с горки на железном листе. Глеб не громкий. Но рядом с ним воздух почему-то становится надёжнее.

Когда мне было восемь, а ему девять, пацаны постарше заперли меня в подвале нашей общаги. Просто так, на спор, «слабо ему выйти». Я просидел там часа два. Слушал, как капает труба, как где-то в углу шуршат крысы, и ревел так, что горло потом болело три дня.

Дверь открыл Глеб. В одной руке у него был обломок доски, а у одного из тех пацанов, что стояли поодаль, из носа шла кровь. Глеб посмотрел на меня, вытер мне лицо рукавом и сказал только:

— Ну чего ты? Пошли.

И я пошёл. С тех пор так и повелось: я иду, а он рядом.

Он учил меня всему, что не преподают в школе. Как завязывать шнурки узлом, который не развязывается. Как нырять с «козырька» у пруда-отстойника. Как смотреть человеку в глаза, чтобы он тебя не боялся, но и не считал вызовом. Последнее у меня так и не получилось, но Глеб терпеливый.

Однажды, лет в тринадцать, он сказал мне:

— Слово, Ярик, не воздух. За него отвечать надо.

Я тогда решил, что это цитата из какого-нибудь фильма, и кивнул. А он посмотрел так, будто хотел добавить что-то ещё, но не стал.

В последние месяцы с Глебом что-то происходит.

Сначала он стал реже появляться. Раньше мы каждый вечер сидели у него в комнате или у меня, слушали музыку с телефона, ели макароны с кетчупом. Теперь он приходит после десяти, тихий, усталый, и уходит спать почти сразу. На костяшках у него ссадины, которые не заживают, потому что появляются новые. Пару раз я видел у него под рёбрами синяк размером с ладонь.

— С секции, — сказал он, когда я спросил.

Секция. Боксёрская, в ДК «Металлург». Которого нет уже два года.

Я не стал спорить. Я вообще редко спорю. Но в блокноте на очередной странице появилась пометка: «Глеб. Секция. ДК закрыт». И вопросительный знак, который я обвёл три раза.

Ещё он стал другим. Осторожным. Садится в комнате лицом к двери, выходя во двор, сначала оглядывает его целиком, будто считает людей. Когда я как-то раз ляпнул, что мне надоело, что все тут ходят как на минном поле, он ответил:

— Это не минное поле, Ярик. Это просто город, в котором есть правила. Надо только знать какие.

— Ну и какие? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Узнаешь.

Тогда я подумал, что пацаны просто взрослеют. Так бывает: вчера ты делил с другом конфеты, а сегодня у него свои дела. Я не обижался. Ну, почти.

Домой я возвращался позже обычного. Литейную в тот день раскопали: ремонтировали трубы, поперёк улицы лежала жёлтая лента и стоял экскаватор, и мимо него пройти можно было только через грязь по колено. А в продуктовом во дворе нашей общаги висела бумажка: «Санитарный день».

Хлеб и молоко нужны были сегодня. Мама в ночную не пойдёт, значит, вечером будет дома, и на столе должно быть хоть что-то.

Ближайший круглосуточный магазин находился у вокзала. Туда можно было дойти двумя путями: длинным, по улицам, или коротким, через подземный переход.

Я стоял на перекрёстке минут пять. В голове у меня была карта, и на ней вокзальный переход горел красным. Но было уже почти пять, светло, в переходе всегда полно народу. Вечером, когда стемнеет, идти будет хуже. А если обходить по улицам, я вернусь домой в темноте.

«Ладно, — подумал я. — Быстро пройду».

Вот так, со своим любимым словом, я и спустился по лестнице.

В переходе пахло сыростью, куревом и жареными пирожками из ларька. Люди шли навстречу, кто-то торопился на электричку, кто-то тащил сумки. Я шёл вдоль стены, смотрел под ноги и считал шаги. Сорок. Тридцать. Двадцать.

На двадцати меня окликнули.

— Э, слышь, с Литейной!

Я не остановился. Это у меня отработано: делать вид, что зовут не тебя. Но за спиной раздались быстрые шаги, кто-то обогнал меня, а потом впереди встали двое, а третий остался сзади. Классическая схема. Я про неё только слышал, но узнал сразу, как узнаёшь вещь, которую давно боишься увидеть.

Их было трое. Тому, что стоял слева, было лет пятнадцать: широкий, коротко стриженный, с толстой шеей и расплюснутым носом. Его звали Лёха, и все называли его Кабан. Справа стоял худой, нервный, в капюшоне, с быстрыми глазами. Это был Димон по кличке Сквозняк: говорили, что он появляется и исчезает так, что никто не успевает моргнуть. Третий, молчаливый, в кепке, с потрёпанным скейтом в руках, отрезал мне путь назад. Паша, Жук.

Я не был знаком с ними. Но знал, что они из Вокзальных, потому что про них знал весь район.

— Куда торопишься? — спросил Кабан, растянув слова.

— Я... за хлебом, — сказал я.

— За хлебом, — повторил Сквозняк и хихикнул. — Слышал, Кабан? За хлебом.

— Слышал. — Кабан шагнул ближе. От него пахло дешёвыми сигаретами и жвачкой. — Ты с Литейной, да? Из общаги?

— Ну... да.

— Тогда проход у нас платный.

Я моргнул. В голове мгновенно, как всегда в такие минуты, выстроилось четыре хороших ответа. «Какой ещё проход?» «Это общественный переход». «Я сейчас позвоню в полицию». «Пропустите, пожалуйста». Все они были разумные, спокойные, взрослые.

Я открыл рот.

— Э... я... у меня...

— Чё «у меня»? — Сквозняк подошёл вплотную. — Денег нет?

Денег было четыреста рублей. Мамины. На неделю.

— Нет, — сказал я. Это вышло тихо и совсем не убедительно.

— Бля, да ты врешь, — сказал Кабан спокойно, без злости, как о погоде. — Сквозняк, глянь.

Сквозняк даже не стал спрашивать. Его рука нырнула ко мне в карман, будто там лежало его собственное, и через секунду вытащила сложенные вдвое купюры. Я дёрнулся, но Жук сзади толкнул меня в спину, и я налетел на стену. Ударился плечом, больно, до звона, и прикусил губу так, что во рту стало солоно.

— Четыреста, — пересчитал Сквозняк и присвистнул. — Ого. Богатенький.

— Это... — я сглотнул. — Это маме. На хлеб. На неделю.

Слова вышли какие-то детские, жалкие. Я услышал их со стороны и мне стало стыдно до жжения в ушах.

— Ну а нам на что? — усмехнулся Кабан. — Нам тоже жрать надо.

Он говорил это так, будто мы обсуждаем цену на картошку. Без злобы. Без азарта. Для него это была работа: пришёл, взял, ушёл. От этого было ещё страшнее. Если бы он злился, я бы хоть понимал, что сделал не так.

— Отдайте, — сказал я. — Пожалуйста.

Я хотел сказать это твёрдо. Хотел так, как надо. Получилось шёпотом.

Кабан посмотрел на меня, словно на что-то слегка удивившее его.

— Пожалуйста, — повторил он и обернулся к остальным. — Слышали? Он «пожалуйста» сказал.

Они заржали, все трое, даже молчаливый Жук растянул губы.

А потом Сквозняк дёрнул мой рюкзак. Я вцепился в лямку, но она вырвалась, и рюкзак полетел на бетон. Он растянулся, учебники выскочили и разъехались по полу. Вместе с ними выпал синий блокнот.

У меня внутри всё оборвалось.

Сквозняк нагнулся первым.

— О, тетрадка. Чё тут у нас?

— Не трогай, — вырвалось у меня. Единственное, что я сказал в тот вечер быстро и без запинки.

Он, конечно, потрогал. Открыл наугад и начал читать вслух, кривляясь, растягивая слова:

— «Эй, Воронин, дай списать. Я: молчал. Надо было...» — Он поднял голову. — Надо было! Кабан, ты слышал? Он тут себе записывает, чё надо было сказать!

— Дай сюда, — сказал Кабан и забрал блокнот. Пролистал, хмыкнул, прочитал что-то про себя и присвистнул. — Ну ты писатель, бля. Тут страниц пятьдесят. И чё, ты всё это сказал?

Я молчал.

— Не сказал, — понял он. — Ты всё это придумал, когда уже домой пришёл. Да?

Это была правда. Такая точная, что я не смог бы возразить, даже если бы хотел.

Кабан покачал головой, и в его лице на секунду мелькнуло что-то вроде брезгливой жалости.

— Слабак ты, Воронин, — сказал он. — Не бойся, мы тебя не тронем. Ты и так уже сам себя тронул.

Он бросил блокнот. Тот упал в лужу у стены, куда стекала вода с потолка, и раскрылся страницами вниз.

Потом Кабан подошёл ко мне вплотную и, не размахиваясь, ткнул кулаком в солнечное сплетение. Не сильно, скорее показал. Но воздух вылетел из меня разом, ноги подогнулись, и я сполз по стене, хватая ртом пустоту.

— В пятницу, — сказал он, глядя сверху. — Здесь же. Принесёшь пятьсот. Не принесёшь, сука, заберём вместе с рюкзаком. И с зубами. Понял?

Я кивнул.

— Не слышу.

— Понял, — выдавил я.

— Вот, уже говорить научился, — усмехнулся Сквозняк.

Они ушли. Не спеша, лениво, как люди, у которых впереди целый вечер. Жук на прощание катнул скейтом мои учебники, и те разлетелись ещё дальше.

Я сидел на мокром полу, и мимо меня шли люди. Кто-то торопился на электричку. Кто-то смотрел, кто-то делал вид, что ничего не видит. Мужик с сумками аккуратно обошёл меня по дуге, будто я лужа. Одна женщина замедлила шаг, взглянула так, будто хотела что-то сказать, но потом поправила сумку на плече и пошла дальше.

И я её не винил. Я бы тоже прошёл мимо. Я так и делал всю жизнь.

Блокнот я вытащил из лужи и вытер о куртку. Страницы разбухли, чернила местами поплыли, но большая часть читалась. Учебники собрал по одному. Пятнадцать минут ушло на то, чтобы найти последнюю тетрадь, закатившуюся под лавку.

В куртке, во внутреннем кармане, на который они не обратили внимания, нашлись сорок рублей. Я купил в магазине у вокзала половину батона и пакет самого дешёвого молока. Кассирша посмотрела на разбитую губу, которую я даже не заметил, и хотела что-то спросить, но я быстро сказал «спасибо» и ушёл.

Дома я поставил молоко в холодильник, хлеб на стол и сел на кровать. В окне торчали три трубы, над ними висел жёлтый дым, и город внизу уже зажигал первые огни.

Я достал блокнот, положил его на колено, открыл чистую страницу и написал:

«Вокзальные. Кабан, Сквозняк, Жук. Переход. Забрали 400. В пятницу нужно 500. Я: э, я, пожалуйста. Надо было...»

Ручка зависла над бумагой.

Я смотрел на пустую строку минут десять. Раньше в такие моменты слова приходили сами: короткие, острые, правильные. Теперь их не было. Я вдруг понял, что не знаю, что надо было сказать. Я не знаю, что вообще нужно говорить людям, которые смотрят на тебя как на вещь. Может, там не помогут никакие слова. Может, нужно было что-то другое, чему меня никто не учил.

Дверь скрипнула. В нашей общаге замки никто не запирает, а Глеб вообще привык заходить без стука.

Он вошёл с рюкзаком через плечо, в тёмной куртке, усталый, с красными от холода ушами. Сначала он что-то говорил про то, что в столовой опять не было обеда, и про то, что его мама просила передать мне привет. Потом поднял глаза на меня и замолчал.

Я не сразу понял, почему. Потом до меня дошло: губа. Она распухла и, кажется, кровила.

— Кто? — спросил Глеб.

Тихо, спокойно, без единой лишней интонации. Но глаза у него стали такими, каких я никогда не видел: холодными и очень внимательными.

— Никто.

— Ярик.

— Упал, — сказал я. — На лестнице.

Он не сказал, что не верит. Просто стоял и смотрел, и это молчание давило сильнее любых слов. Потом подошёл, сел на край кровати и осторожно взял мой подбородок двумя пальцами, повернув лицо к свету.

— Опять молчишь, — сказал он наконец.

Я ничего не ответил. Именно это и было ответом.

Глеб вздохнул, потянулся к блокноту, но я быстро прикрыл его рукой, и он не стал настаивать. Когда он убирал руку, рукав куртки сдвинулся, и на секунду я увидел на его запястье что-то тёмное. Не синяк. Скорее рисунок, аккуратный, будто нарисованный чёрной ручкой. Или выведенный чем-то более серьёзным.

Глеб заметил мой взгляд и одним движением натянул рукав обратно.

— Спи давай, — сказал он и поднялся. — Завтра поговорим.

Он ушёл, и дверь закрылась с тихим щелчком.

Я лёг. Долго смотрел в потолок, слушал, как за стенкой сосед включает телевизор, как в трубах шумит вода, как вдалеке гудит завод, ни на минуту не засыпающий по-настоящему.

До пятницы оставалось четыре дня. Пятисот рублей у меня не было. Зато был лучший друг со сбитыми костяшками и тайной под рукавом, и я вдруг впервые подумал: а что, если молчать умею не только я?

Глава 2:Свой человек

Утром я соврал маме про губу.

Вернулась она вчера поздно: задержали на смене, подменяла заболевшую коллегу. Я слышал сквозь дрему, как она осторожно ходит по комнате, ставит чайник, шуршит пакетом. Хлеб. Тот самый, на который я потратил последние сорок рублей. Она ничего не сказала. Наверное, решила, что я умный: купил ровно половину батона, потому что больше нам и не нужно.

Утром она заметила губу.

— Ярик, что с лицом?

— Дверью, — сказал я. — В школе. Забежал, а там открывали.

— Дверью, — повторила мама. Не вопросом, просто повторила.

Она стояла в халате, с кружкой чая, худая, в очках, которые натирала до блеска, как все, кто работает с приборами. Смотрела на меня секунды три, и я почти слышал, как она решает: спросить ещё раз или поверить. Мама выбрала поверить. Или сделала вид. У нас в семье это одно и то же.

— Возьми, — сказала она и достала из кармана халата сто рублей. — Купишь в столовой нормальный обед.

— Мам, у меня есть.

— Возьми.

Я взял. Сто рублей она достала не из кошелька, а из кармана, сложенные в маленький квадратик, и я понял, что это были деньги, которые она отложила для себя. Мне стало так стыдно, что я чуть не рассказал всё прямо там, на кухне. Про переход, про Кабана, про пятницу. Но слова опять застряли, и я только сказал:

— Спасибо.

— Береги себя, — ответила мама и отвернулась к чайнику.

До пятницы я жил как человек, у которого назначена операция. Вроде бы всё как обычно: школа, дом, уроки, ужин. Но внутри тикает таймер, и каждый час он громче.

Пятьсот рублей. Я перебирал эту цифру в голове, как камешек в кармане. У меня было сто от мамы. Остальное надо было где-то найти.

Во вторник вечером я достал из-под кровати жестяную банку из-под чая. Я откладывал в неё мелочь с девяти лет, когда мне впервые дали на карманные расходы. Высыпал на кровать, пересчитал два раза. Сто тридцать рублей. Со всеми пятирублёвыми, которые давно надо было разменять, и с одной монетой в десять рублей, которая оказалась юбилейной и, возможно, стоила больше.

В среду я обошёл все четыре этажа с пакетом и собрал пустые бутылки. Сорок восемь штук. Тётя Зоя с вахты, увидев меня с звенящим пакетом, только вздохнула и молча добавила ещё пять из своей подсобки. В ларьке у проходной мне дали шестьдесят два рубля.

Итого двести девяносто.

Я сидел на кровати с этой кучкой монет и мятых купюр и смотрел на неё, как на приговор. Двести девяносто. Не пятьсот. Даже близко не пятьсот.

В блокноте я записал: «Есть 290. Нужно 500. Не хватает 210. Надо было...» И снова пустая строка.

Глеб заходил во вторник и в среду. Заходил как всегда, без стука, садился на подоконник и делал вид, что просто зашёл поболтать. Но говорил он мало, а смотрел много. Особенно на мою губу, которая к среде уже заживала.

Во вторник он спросил прямо:

— Расскажешь?

— Нечего рассказывать.

— Ладно, — сказал он и больше не давил.

Это «ладно» было моё, и слышать его от Глеба было странно. Как будто он вернул мне то, что я ему одолжил.

В среду он вдруг сказал, глядя на трубы за окном:

— Знаешь, в чём проблема, когда платишь тем, кто берёт с тебя деньги?

— В чём?

— Они приходят снова. Не потому что им мало. Просто ты показал, что можно.

Я не ответил. Он тоже не стал продолжать. Но когда уходил, задержался в дверях и добавил, не оборачиваясь:

— Они берут не деньги, Ярик. Они берут тебя. Понимаешь, о чём я?

— Не очень.

— Вот и я думаю, что не очень, — сказал он тихо и вышел.

Тогда я решил, что он говорит про какую-то философию. Про то, что надо быть сильнее. Про то, что все и так знают. Я не понял главного: он не давал мне совет. Он вёл разговор, в котором ждал, что я сам всё скажу. А я снова промолчал.

В четверг меня у гардероба поймал Сазонов.

Сазонов, здоровый белобрысый парень с последней парты, считает, что смех в классе это его личная должность. Он зашёл в гардероб с двумя приятелями, увидел меня у крючка с курткой и присвистнул.

— Воронин! Слышал, тебя в переходе вокзальные... — Он изобразил, будто вытряхивает чужие карманы. — Говорят, ты им ещё и «пожалуйста» сказал.

Откуда он узнал, я не понял. В нашем городе новости бегают быстрее электричек. Приятели заржали.

Я стоял с курткой в руках, и внутри у меня будто щёлкнул выключатель: уши горят, во рту сухо. В голове мгновенно выстроилось четыре ответа. Один даже был хороший: «Зато я не расписываюсь в дневнике за отца». Про то, что Сазонов подделывает подпись, знал весь класс.

Я открыл рот.

— Э... — сказал я. — Ну... это...

— Что «это»? — Сазонов шагнул ближе и растопырил ладонь у меня перед лицом. — Говори громче, Воронин, а то плохо слышно.

— Ладно, — сказал я.

Они снова рассмеялись. Я надел куртку, вышел на крыльцо и только там понял, что сжимаю кулаки так, что ногти оставили на ладонях красные полумесяцы.

В блокноте в тот вечер я не стал писать «Надо было...». Я написал: «Опять ладно. Сколько ещё раз?» И впервые вопрос был не про них, а про меня самого.

В пятницу я вышел из школы в четыре и пошёл к вокзалу.

Не потому что смелый. Кабан сказал: «Не принесёшь, заберём вместе с рюкзаком». Я знал, что такие слова ничего не стоят, когда их бросают просто так. Но они стоят очень много, когда их говорят люди, которые знают, где ты живёшь.

Двести девяносто рублей лежали у меня в двух карманах: часть в джинсах, часть во внутреннем кармане куртки, где в прошлый раз уцелело сорок. Я думал, что делать. Наверное, самый разумный план: подойти, сказать «вот, сколько собрал», отдать всё и просить об отсрочке. Я даже репетировал это по дороге, шёпотом, шевеля губами:

«Вот двести девяносто. Остальное принесу в следующую пятницу».

Звучало жалко. Но звучало как слова, которые способны сохранить мне зубы.

У входа в подземный переход стоял Глеб.

Прислонился к перилам, руки в карманах куртки, спокойный, будто просто ждал автобус. Когда я подошёл, он оттолкнулся от перил и сказал:

— Пойдём вместе.

Я остановился.

— Ты откуда знаешь?

— В общаге все всё знают. Тётя Зоя видела, как тебя в понедельник у вокзала обступили. Соседка с пятого рассказала. Ты, Ярик, громко молчишь.

— Глеб, не надо. — Я сглотнул. — Я сам. Я всё принёс.

— Сколько?

— Двести девяносто.

— Из пятисот.

— Ну... да.

Он усмехнулся, но без насмешки, устало.

— Ты собрал по копейкам двести девяносто рублей, чтобы отдать тем, кто у тебя их отобрал. Ты понимаешь, как это звучит?

— Понимаю, — сказал я.

— Тогда пойдём.

— Глеб, их трое.

— Знаю.

— Кабан здоровый.

— Знаю.

— Они сказали, если я...

— Ярик. — Он посмотрел мне в глаза. Не сурово, а спокойно, так, как смотрят на человека, которого не собираются бросать. — Я сказал: пойдём вместе.

И я пошёл.

Они были там же. В том же углу у стены, где в понедельник смеялись над моим блокнотом. Кабан сидел на корточках и что-то жевал, Сквозняк лениво листал телефон, Жук стучал скейтом по бетону, отбивая какой-то ритм.

Когда мы приблизились, Кабан поднял голову. Увидел меня и расплылся:

— О, писатель пришёл. Принёс?

— Здорово, Кабан, — сказал Глеб.

Кабан прищурился, разглядывая моего спутника. Потом медленно встал, и на его лице появилось что-то вроде осторожности.

— Штырь? Ты чё тут забыл?

— Пришёл с человеком. Он у тебя, говорят, в долгу.

— Не в долгу. — Кабан пожал плечами. — Проход платный.

— Кем установлено?

— Нами. — Он ухмыльнулся. — Мы тут держим.

— Вы тут стоите, — спокойно сказал Глеб. — Это разное.

Сквозняк оторвался от телефона и засмеялся высоким, нервным смешком:

— Слышал, Кабан? Он нас учить пришёл.

Глеб не обратил внимания. Смотрел только на Кабана.

— В понедельник вы взяли у него четыреста рублей. Это мамины деньги, на хлеб. Верни.

— Чего? — Кабан хмыкнул. — Это ты типа говоришь мне, что делать?

— Это первое, — сказал Глеб.

Я не понял, что он считает. Кабан тоже не понял, но нахмурился.

— Ты чё, считаешь?

— Считаю. — Глеб кивнул. — Первое предупреждение: верни деньги. Второе: извинись перед ним. Хотя бы по-человечески. Третье...

Он замолчал.

— Что третье? — спросил Сквозняк, выпрямляясь.

— Третьего лучше не надо, — сказал Глеб. — Оно вам не понравится.

В переходе стало тихо. Даже мимо идущие люди, кажется, ускорили шаг. Где-то наверху проехала электричка, и весь бетон коротко задрожал.

Кабан посмотрел на Глеба, потом на меня, потом снова на Глеба. Я видел, как в его голове что-то щёлкает. Он был на два года младше Глеба, но шире вдвое, и явно ни разу не слышал, чтобы с ним так разговаривали. С другой стороны, за спиной у него стояли двое, и позади шли люди, а в таких местах отступить публично значит потерять всё.

— Слышь, — сказал он наконец. — Ты, Штырь, конечно, известный человек. Но это наши дела. Он к нам пришёл, он нам должен. Ты в это не лезь.

— Он мой человек, — сказал Глеб.

Ровно, без нажима. Просто как факт.

— Значит, вопросы к нему — это вопросы ко мне.

Кабан помолчал. А потом сделал то, чего, наверное, делать не стоило. Он шагнул ко мне и толкнул в грудь раскрытой ладонью. Не сильно, скорее показательно, как толкают, чтобы напомнить, кто здесь хозяин.

— Ты чё, за спину спрятался, писатель? Сам говорить не можешь?

Я отшатнулся, и спина упёрлась в стену.

— Всё, — тихо сказал Глеб. — Третье.

Раньше я видел драки. В школе, во дворе, по телевизору. Все они выглядели одинаково: размахивание руками, крики, толкотня, случайные удары. Люди в драках кричат, потому что им страшно.

Глеб не кричал.

Это я заметил первым. В кино перед ударом всегда красиво отводят руку назад, набирают воздух, делают лицо. Глеб просто шагнул вперёд, и его кулак уже был в животе у Кабана. Не размашисто, коротко, точно, как будто он делал это тысячу раз. Кабан согнулся, хрипло выдохнув, и Глеб отступил на полшага, не добивая.

— Ах ты сука, — прохрипел Кабан.

Сквозняк рванулся вперёд с боку, и вот тут я впервые увидел, что значит «умеет драться». Глеб даже не обернулся. Он чуть повернул корпус, и Сквозняк, вместо того чтобы попасть в цель, врезался в пустоту и по инерции влетел в стену. Глеб коротко ударил его локтём под рёбра, и тот осел, ловя ртом воздух.

Я стоял и смотрел, как будто всё происходило не со мной. Как будто я сидел в кино и не мог ни нажать паузу, ни выйти из зала.

А потом краем глаза увидел Жука.

Он всё это время стоял чуть в стороне, тихий, молчаливый, со скейтом в руках. Сейчас он тихо шагнул за спину Глеба, поднял доску над головой обеими руками, и я понял, что через секунду она обрушится ему на затылок.

Я открыл рот.

— Сзади!

Голос вырвался из меня громкий, хриплый, совсем не мой. Я даже не понял, что это сказал я.

Глеб пригнулся, и скейт с сухим треском врезался в стену, там, где секунду назад была его голова. Доска треснула пополам. Жук остолбенел с обломком в руках. Глеб развернулся, схватил его за грудки и без злости, почти ласково прижал к стене.

— Положи, — сказал он. — Не надо.

Жук разжал пальцы. Обломки упали на пол.

Я стоял с открытым ртом. Я только что сказал слово. Вовремя. Не вечером на кровати, не в блокноте, а сразу, в тот момент, когда оно было нужно. Это было так странно, что я забыл испугаться.

Но драка ещё не закончилась.

Кабан выпрямился. Лицо у него стало красным, глаза налились, и он бросился на Глеба, размахивая кулаками, как мельница, вложив весь свой вес. Глеб отпустил Жука, шагнул в сторону, и кулак Кабана прошёл рядом с его ухом. Ответный удар в печень был почти нежным, коротким, снизу. Потом подсечка. Кабан рухнул на бетон всей своей тяжестью, так что вздрогнули лампы под потолком.

Глеб отступил на шаг и остановился.

Не добивал. Стоял над ним, ровно дыша, с опущенными руками.

— Лежачего не бью, — сказал он. — Но встанешь и полезешь снова, пожалеешь.

Кабан лежал, хватая воздух. Из носа у него шла кровь, ярко и густо. Он смотрел на Глеба снизу вверх, и в его взгляде была злость, но ещё и что-то другое. Понимание. Он проиграл. Проиграл при свидетелях, и уже ничего не исправить.

— Четыреста, — сказал Глеб.

Кабан полез в карман толстовки, вытащил мятые купюры и швырнул на пол.

— Держи, бля.

— Подними и отдай ему. — Глеб кивнул на меня.

Кабан посмотрел на него с такой ненавистью, что мне стало не по себе. Но всё же подобрал деньги и, не глядя на меня, сунул мне в руку.

Пальцы у меня дрожали так, что я чуть не выронил.

— И запомните, — сказал Глеб. — Он мой человек. Проход для него свободный. Кто тронет, будет разговаривать со мной.

Он не угрожал. Просто объяснял правила, как учитель объясняет ученикам таблицу умножения.

Кабан поднялся. Тяжело, опираясь на стену, держась за живот. Сквозняк уже стоял рядом, потирая рёбра, а Жук держался подальше, косясь на обломки скейта.

— Ты допрыгаешься, Штырь, — выдавил Кабан. Голос у него был хриплый, с ненавистью. — Ты, бля, слишком много о себе думаешь. Тебя Гвоздь ещё помнит.

Я не понял, что это значит.

Но заметил, как изменилось лицо Глеба.

Всего на секунду. У него дёрнулась щека, и глаза потемнели, как вода, когда над ней проплывает туча. Он не ответил, не сделал ни шага. Просто замер, как замирают, услышав в темноте слишком знакомый голос.

Потом выдохнул и сказал мне:

— Пошли, Ярик.

Мы вышли из перехода и долго шли молча.

Вечер был холодный, с ветром, который тащил по улицам бумажки и жёлтые листья. Фонари уже зажигались, и над вокзалом висело низкое серое небо, пахнущее железом и дымом. Ветер трепал куртку, а я не мог ни застегнуть её, ни поднять воротник, потому что руки всё ещё тряслись.

В кармане лежали четыреста рублей. В другом кармане ещё двести девяносто. Впервые за неделю у меня были деньги, которых хватало.

— Возьми, — сказал я, пытаюсь сунуть Глебу часть. — Ты же... ты для меня...

— Спрячь, — ответил он.

— Но...

— Ярик. Спрячь. И отнеси маме.

Я убрал. Мы шли мимо ряда киосков, мимо остановки, мимо пожилой женщины, которая продавала семечки в газетных кулках. Я думал о том, что сейчас, наверное, надо что-то сказать. Что-то важное. Что-то вроде «спасибо». Но ни одно слово не казалось достаточно большим.

— Как ты... — начал я. — Где ты этому научился?

— Долгая история.

— Ты говорил, секция.

Он не ответил.

— ДК закрыт два года, Глеб.

— Знаю.

— Ты мне врал.

Он остановился под фонарём. Свет упал на его лицо, и я увидел, какой он на самом деле уставший. Не просто после драки. Уставший так, как бывают уставшие люди, которые слишком долго несут что-то тяжёлое и никому не говорят.

— Я не врал, — сказал он тихо. — Я не договаривал. Это разное.

— Это одно и то же, — ответил я, и голос у меня дрогнул.

Он вздохнул. Поднял руку, чтобы поправить капюшон, и рукав куртки съехал к локтю. На запястье, под светом фонаря, я разглядел то, что видел в понедельник мельком.

Это была не татуировка и не рисунок ручкой. Аккуратный чёрный знак, выведенный тонкой линией, чёткий, как печать. Похожий на букву «S», только с двойной перекладиной. Я узнал его. Такой значок стоит в учебниках перед номером параграфа.

«§».

— Что это? — спросил я.

Глеб опустил рукав.

— Потом.

— Глеб...

— Ярик, — сказал он, и голос у него был такой, какого я никогда не слышал. Не строгий и не мягкий, а очень серьёзный. — Завтра суббота. Мне надо тебе кое-что рассказать. Только не здесь, не на улице. Придешь ко мне в сорок первую в два часа?

Я хотел спросить, что именно. Хотел потребовать, чтобы он сказал прямо сейчас, потому что, чёрт возьми, я имею право знать. Но вместо этого услышал собственный голос:

— Ладно.

Глеб слегка улыбнулся. Впервые за весь день. И эта улыбка была почти такой, как раньше, как в детстве, когда он открывал дверь подвала.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Пошли домой.

Дома мама ещё не вернулась. Я положил на стол шестьсот девяносто рублей: четыреста, которые вернул Глеб, и двести девяносто, собранных за три дня. Придвинул сахарницу. Потом достал блокнот, сел на кровать, раскрыл чистую страницу и долго смотрел на неё.

Сегодня мне было что записать.

«Пятница. Переход. Кабан, Сквозняк, Жук. Глеб пришёл со мной. Три предупреждения. Он не кричал. Он не бил лежачего. Он сказал: Он мой человек».

Я остановился. Перечитал последнюю фразу. Она была короче всех, что я написал за эти два года, и почему-то весила больше остальных.

Потом дописал:

«Я крикнул: Сзади! Вовремя. Первый раз в жизни».

И ниже, другой ручкой, там, где обычно писал «Надо было...», я не написал ничего. Потому что впервые не было чего исправлять.

Оставалось ещё несколько строк. Я вывел их медленно, по одной, чтобы не забыть:

«Глеб. Знак §. Кабан сказал: Тебя Гвоздь ещё помнит. Глеб замер.

Кто такой Гвоздь?»

Я поставил вопросительный знак и обвёл его три раза, как делал всегда, когда мне было по-настоящему страшно и по-настоящему интересно.

За окном загудел завод, вечерняя смена. Я слушал этот гул и думал, что завтра, в два часа, в сорок первой комнате, что-то закончится. И что-то начнётся.

Я ещё не знал, что именно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.